

ОБ ИДЕОЛОГИИ КНЯЖНИНА *

Статья Н. Гудзия

Русскому XVIII в. в нашей литературоведческой науке особенно не повезло. Она мало им интересовалась, еще меньше занималась. Ученый интерес к нему был значительно слабее, чем интерес к предшествующим векам и последующему — XIX. Причина такого равнодушия к литературе XVIII в. крылась в очень распространенном мнении о ней как о литературе преимущественно подражательной, неорганически усваивавшей себе западно-европейские образцы и потому художественно и идейно в своей массе неполноценной. Отголоском такой ее расценки является и точка зрения Д. Мирского, высказанная им в № 9—10 „Литературного Наследства“ и грешащая прежде всего отсутствием исторического отношения к вопросу. А между тем в свете истории литературный XVIII в., как можно судить даже по тому, что в этом направлении уже сделано, начиная с Плеханова, представляет собой исключительный интерес. Едва ли какая-либо другая литературная эпоха, если не считать нашей современности, была так злободневна и исторически актуальна, как именно XVIII в. Это эпоха крупнейших социальных формирований и социальных сдвигов, привлекавшая к себе на службу все области культуры, в том числе и литературу. Незамаскированная или слабо замаскированная публицистическая тенденция в литературе XVIII в. обнаруживает себя гораздо ощутительнее, чем это было в следующем веке, и роль этой тенденции здесь может идти в сравнение лишь с тем, что мы имеем в этом отношении в нашей старинной литературе. Вообще в плане сугубой практической направленности следует провести аналогию между русской литературой XVIII в. и веков предшествующих.

Максимально благоприятные условия для развития в XVIII в. создались по понятным историческим причинам для литературы дворянской, явившейся проводником идеологии создавшего ее класса. Поскольку однако дворянство в XVIII в. по своему социальному бытию и своим устремлениям было неоднородно даже в пределах одного и того же периода времени, идеология его не была однообразной. Различие интересов внутри единого господствующего класса неизбежно вело к различию идеологических позиций, нашедшему себе выражение и в художественной литературе. Уяснение этих позиций у того или иного писателя облегчается в том случае, когда мы располагаем, помимо материала художественного творчества, еще и прямыми высказываниями писателя по вопросам идеологического порядка, данными биографии и т. д. Не полное или одностороннее использование всего необходимого и пригодного для этой цели материала часто влечет за собой шаткость и большую спорность построений. Для примера достаточно указать хотя бы на попытку переоценки идеологических позиций И. Майкова, сделанную в последнее время В. А. Десницким преимущественно на основе одностороннего анализа его пародической поэмы „Елисей, или раздраженный Вах“. Еще более шаткой и еще менее обоснованной является попытка М. О. Габель перерешить вопрос об идеологическом содержании литературного наследства Княжнина в связи с анализом его „Вадима“ и рукописной трагедии „Ольга“

* По поводу статьи М. Габель „Литературное наследство Я. Б. Княжнина“, напечатанной в № 9—10 „Литературного Наследства“.

Большинство исследователей и комментаторов некогда опального „Вадима“ видело в нем апофеоз гуманной власти просвещенного монарха (к этому большинству нужно присоединить и имя не упомянутого Габель Плеханова) и лишь незначительное меньшинство — пропаганду республиканских идей. И потому непонятными являются прежде всего заключительные строки статьи Габель, в котором она рекомендует раз навсегда покончить с „буржуазным мифом“ о Княжнине-революционере и заявляет, что нет нужды фальсифицировать наследство писателя, чтобы мнимой его революционностью протащить его в нашу эпоху¹. Как будто такой миф когда-либо всерьез пользовался популярностью и как будто наша эпоха, если бы за этим мифом крылось какое-либо правдоподобное основание, как-то практически заинтересована в том, чтобы Княжнин был непременно революционером, и рада была бы в том случае „протащить“ к себе лишнего выразителя революционной дворянской идеологии. В свое время еще Герцен в „Былом и Думах“ с иронией, направленной по адресу Екатерины, говорил о якобы „зажигательной трагедии якобинца Княжнина“.

Собственная точка зрения Габель на Княжнина такова, что он является идеологом дворянской аристократии, оппозиционной екатерининскому самодержавию, поддерживавшемуся средним поместным дворянством, и что „Вадим“, точно так же как и „Ольга“, представляет собой своего рода политический трактат-памфлет, скрытый под формой трагедии и перекликающийся с политическими настроениями враждебной Екатерине аристократической фронды, в частности с публицистикой Щербатова. Этот тезис Габель пытается обосновать путем идейного анализа „Вадима“ и „Ольги“, оставляя почти совсем в стороне всю остальную литературную продукцию Княжнина, не касаясь вовсе его биографии и отождествляя высказывания княжнинских персонажей с мыслями самого Княжнина, заранее предположив, что все симпатии писателя на стороне именно его свободолюбивых героев.

Остановимся прежде всего на интерпретации Габель „Вадима“.

Утверждая, что персонажи трагедии Вадим и Пренест являются защитниками аристократической формы правления, характеризующейся властью вельмож, Габель продолжает: „являясь ярым противником самодержавия, Вадим готов все же его признать в том случае, если монарх делит свою власть с вельможами — единственными защитниками свободы; иначе неограниченная монархия приведет к рабству граждан, но каких граждан? Тех же вельмож, о вольности которых и печется Вадим“. В подтверждение последней мысли следует цитата из монолога Вадима:

Что вижу здесь? Вельмож утративших свободу,
В подлейшей робости согбенных пред царем
И лобызующих под скиптром свой ярем.

Здесь все сказанное Габель вызывает решительное возражение. Вадим прежде всего отнюдь не апологет власти вельмож и аристократии, а защитник идеи народоправства. Вельможи в его представлении лишь действуют именем народа и действуют в той мере, в какой их власть народом санкционирована. В одном месте он говорит:

И се те славные, священные чертоги,
Вельможи наши где, велики, будто боги,
Но равны завсегда и меньшим из граждан*,
Ограды твердые свободы здешних стран,
Народа и именем, который почитали,
Трепещущим царям законы подавали.

Сам Вадим мыслит себя как радетеля о благе народа вообще, а не только вельмож:

* Разрядка всюду наша—Н. Г.

Я подвигов моих плоды несущу народу

— говорит он. Восставая против Рурика, Вадим надеется на поддержку всего народа. Он кончает самоубийством прежде всего потому, что, вопреки его ожиданиям, народ, ставший на сторону Рурика, оказался „гнусными рабами, оков себе просящими“. Его свободолюбивая душа не в силах перенести это разочарование. Он восклицает:

... мир любит пресмыкаться;

Но миром таковым могу ли я прельщаться?

Вряд ли он так трагически воспринял бы рабские инстинкты народа, если бы в своей государственной политике полагался исключительно на силу и авторитет одной лишь аристократии. Высшим благом для его противника Рурика было бы, по его мнению, полное равенство его со всеми гражданами:

Блажен бы Рурик был, когда б возмог он стать,

В порфиру облечен, гражданам нашим равен.

Пренебрегая тиранами-царями, добивавшимися руки его дочери Рамиды, он готов отдать ее тому, кто, стремясь к спасению отечества от рабства, в благородстве своей души превзойдет всех смертных. Он, „гражданин“, в зятя себе „хотел лишь только гражданина“. Мы разумеется в праве социологически осмыслить свободолюбивые позиции Вадима, усматривая в нем замаскированного идеолога аристократии, как это делает Габель, но такое осмысление тут решительно ни к чему: сам-то Княжнин ни явно, ни скрыто такого осмысления разумеется не делал и вряд ли подозревал его возможность. Далее — решительно неверно утверждение, что Вадим готов признать самодержавие в том случае, если монарх делит свою власть с вельможами. Когда Рурик предлагает народу возложить царский венец на голову своего противника, Вадим с негодованием протестует:

Вадима на главу! Сколь рабства ужасаюсь,

Только я его орудием гнушаюсь!

Совершенно очевидно, что принципиальный республиканец Вадим является решительным противником царской власти вообще, независимо от того, ограничена она властью вельмож или ничем не ограничена. Иначе что же ему мешало бы, приняв предложение Рурика, самоограничить себя как ему заблагорассудится?

Габель сама указывает на то, что в трагедии, в словах союзника Вадима Вигора (не только Вигора — *Н. Г.*), заключена отрицательная оценка власти вельмож. В параллель к этой оценке Вигора приводится высказывание Щербатова об отрицательных сторонах аристократического правления, при чем сам Щербатов характеризуется Габель как приверженец такого именно правления и тем самым отождествляется с противником монархической системы — Вадимом. Между тем Щербатов идеальной формой государственной власти считает отнюдь не аристократическую власть, а монархическую, связанную однако „основательными“ законами и советом „именнейших людей“, и ври том так, чтобы „каждый гражданин, по силе и могуществу своему, мог полезный совет дать: ибо все под законом должны жить, все и участие в нем должны иметь“. Габель приписывает Щербатову утверждение, что „несть ничего прекраснее“ аристократического правления. Взятые в кавычки слова, относящиеся к аристократическому правлению, действительно имеются у Щербатова, но они предваряются у него такими словами, которые совершенно опрокидывают толкование Габель. Щербатов пишет „С первого взгляду несть ничего прекраснее главностей сего (аристократического — *Н. Г.*) правления“... И далее следует указание существенных недостатков аристократической системы, если судить о ней не „с первого взгляду“. Такую же силу убедительности имеют и остальные сопоставления Габель между отдельными местами „Вадима“ и высказываниями Щербатова; они до очевидности натянуты и искусственны, примером чему может служить хотя бы приведенная параллель из „Вадима“ к фразе Щербатова, начинающейся словами: „Общим образом сказать, что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мужчины“ и т. д.

Все писавшие о „Вадиме“ указывали на то, что Рурик изображен в нем исключительно положительными чертами. Это не только идеальный монарх, но и идеальный человек, не имеющий ни одного отрицательного качества. Он принял власть вопреки своему желанию, по просьбе вельмож и народа, и пользуется ею для блага своих подданных. Она для него не столько источник радости, сколько тяжелое бремя, которое он несет прежде всего по чувству долга. По тому же чувству он защищает ее в борьбе с восставшим Вадимом, но когда Вадим побежден, он готов власть уступить ему, если суеверный народ этого пожелает. Обвинения Рурика в тирании и коварстве, идущие от его противников, никак не оправданы самим его образом, как он дан Княжниным. С полным сознанием своей правоты Рурик спрашивает Вадима:

Чем трон я помрачил? Где первый судия?
 Вы вольны, счастливы; стою только я!
 Который гражданин, хранящий добродетель,
 Возможен укорить, что был я зло содетель?
 Единой правды чтя священнейший устав,
 Я отнял ли хотя черту от ваших прав?

Нет таким образом никаких оснований оспаривать господствующую точку зрения на „Вадима“ как на произведение, основной смысл которого—апология просвещенной монархической власти, воплощавшейся на практике для Княжнина в деятельности Екатерины II, и нет никаких поводов подозревать в трагедии наличие какого-либо скрытого критического отношения к этой власти. Торжество Рурика над Вадимом обусловлено не преимуществами силы, а преимуществом объективной политической целесообразности, поддержанной высокими моральными качествами реального носителя монархического начала, как их мыслил себе Княжнин. Так как в трагедии показана не личная борьба, а борьба принципов—монархизма и республиканизма, одинаково для Княжнина морально оправданных в их существовании, но лишь безотносительно к конкретной исторической действительности, то оба борющиеся героя наделены положительными чертами, так как только таким путем могла обнаружиться не чисто внешняя и случайная коллизия, а коллизия внутренняя, органическая и потому подлинно глубокая и подлинно трагическая. Именно такого рода трагическую коллизию видимо стремился показать Княжнин в своем „Вадиме“. Не забудем и того, что наряду с Вадимом и Руриком одним из центральных персонажей трагедии является Рамида, дочь Вадима, любящая Рурика. Трагедия ее судьбы становится столь безысходной именно потому, что она вовлечена в борьбу двух противников, не уступающих друг другу в душевном величии. Если бы явно скомпрометированный Княжниним с политической точки зрения Вадим был наделен какими-либо отрицательными качествами, борьба долга и любви, происходящая в душе Рамиды, много потеряла бы в своей силе и остроте. Не следует упускать из виду, что идейные позиции Княжнина не могли вытеснить у него чисто художественных задач, которые диктовали ему определенные соображения при наделении его персонажей теми или иными чертами характера, усиливавшими драматизм положения.

Как известно, Княжнин находился под сильным влиянием западноевропейских образов, заимствуя из них не только драматические ситуации, но и идейное наполнение для своих пьес. В частности „Вадим“ написан под сильным воздействием вольтеровской трагедии „Смерть Цезаря“. Как и у Княжнина, у Вольтера здесь сталкиваются два противника, являющиеся идейными носителями двух враждебных друг другу государственных систем,—идеальный монарх Цезарь, спаситель и благодетель римского народа, и убежденный и бескорыстный республиканец—сын цезаря Брут. Как и у Княжнина, у Вольтера борьба противников, взаимно признающих один у другого высокие нравственные качества, стимулируется таким образом не их личной враждой, а глубоким идейным расхождением в понимании государственного блага. Наконец, как и княжнинский Рурик, вольтеровский Цезарь выступает в трагедии в качестве лица, действующего по велениям исторической необходимости и тем самым явно оправдываемого автором.

Столь же мало убедительна попытка Габель усмотреть отражение оппозиционного якобы отношения Княжнина к Екатерине в его рукописной трагедии „Ольга“. Только допустив большую натяжку, можно видеть в этом подражание вольтеровской „Меропе“ основной сюжет которой—трагедия материнской любви, проявление аристократической дворянской идеологии. Параллель, проводимая автором между Малом и Екатериной, настолько обща и случайна, что положительно ничего не дает для подтверждения основного тезиса статьи. Откуда видно, что Княжнин на стороне именно Святослава, а не Мала. Неужели только из того, что Мал гибнет, а Святослав остается жить? Но сама Габель в своих соображениях о „Вадиме“ указывает на то, что в классических трагедиях протагонист гибнет чаще, чем антагонист. В чем усматривает Габель авторское негодование по отношению к Малу? Ведь эпитеты „злодей“ и „тиран“ по адресу Мала расточает не Княжнин, а персонажи трагедии, за суждения которых драматург не несет никакой ответственности.

Для того чтобы определить идеологию Княжнина, необходимо привлечь к анализу всю совокупность его произведений и учесть все его высказывания, дающие материал для суждения об его идейных позициях. Между тем Габель, сосредоточившись на „Вадиме“ и „Ольге“, игнорирует все прочие трагедии Княжнина, в которых он является совершенно очевидным апологетом Екатерины. Особенно показательна в этом отношении написанная очень незадолго до „Вадима“ трагедия „Литово милосердие“, в которой восторженная оценка Екатерины выступает почти не прикрыто. Не говорим уже о „Дидоне“, „Рославе“, „Владисане“, в которых легко усмотреть такое же положительное отношение Княжнина к Екатерине. Оно наличествует и в его официальных речах. Для того чтобы заподозреть Княжнина в двойной игре, нужны были бы гораздо более существенные факты, чем те, которые приводятся Габель, и в первую очередь—документальные данные, абсолютно отсутствующие в распоряжении автора. Позиции апологета родовитого дворянства Щербатова—последовательного противника Екатерины и ее обличителя—с позициями Княжнина—друга и деятельного сотрудника Бецкого—до очевидности не имеют ничего общего.

Единомышленник Щербатова никак не мог бы вложить в уста положительного героя-революера Честона (комедия „Хвастун“) следующих слов:

А впрочем род мечта; и что дворянство есть?
Лишь обязательство любить прямую честь.

Такой единомышленник не вывел бы в карикатурном свете родовитую дворянку Ленигинову (комедия „Чудаки“), выдающую себя такой жалобой:

Я с досады умираю!

Я будто всем равна. Как можно то сказать?
Я дочь, племянница князей и генералов,
Могу ль я быть равна с женами всех капралов.
Ты хочешь, муж, меня до смерти затерзать.

Для обоснования своей мысли о Княжнине как об идеологе аристократическо-дворянской фронды Габель использует даже идущее от С. Н. Глинки предание о написании Княжниным статьи под заглавием „Горе моему отечеству“, из-за которой у него были серьезные неприятности. Но содержание рукописи, как о нем говорит Глинка, как-раз направлено против догадки Габель. Глинка пишет: „В этой рукописи страшно одно только заглавие. Я читал несколько черновых листов. Главная мысль Княжнина была та, что должно сообразоваться с ходом обстоятельств и что для отвращения слишком крутого перелома нужно это предупредить заблаговременным устройством внутреннего быта России, ибо французская революция дала новое направление веку“. Совершенно очевидно, что совет реформировать внутренний быт России с оглядкой на французскую революцию, прокладывая новую пути общественной жизни, не мог быть дан лицом, примыкавшим в своих социальных позициях к щербатовской идеологии. Очевидно позиции Княжнина иные. Это позиции в основном лояльного к екатерининскому режиму либерального дворянина, затронутого однако процессом бур-

жуазного перерождения, явственно обнаружившегося в среде дворянства второй половины XVIII в. Об этом свидетельствуют больше всего комедии и комические оперы Княжнина, в особенности „Сбитенщик“ и „Несчастье от карьеры“. В последней к тому же—неприкрытый протест против уродливостей крепостного права.

Едва ли нужно сколько-нибудь обстоятельно останавливаться на причинах, вызвавших со стороны Екатерины ее расправу с „Вадимом“. Причина эта давно уже была указана. Если Княжнина трудно было заподозрить в том, что он отдает предпочтение Вадиму перед Руриком, то все же республиканец Вадим наделен у него столь положительными качествами, и сам он и его единомышленники произносят по адресу монархии как государственной системы столь категорические приговоры, что в пору разгара французской революции пьеса оказывалась объективно небезопасной для монархических устоев, ревниво оберегаемых запуганной Екатериной. Это понимал и сам Княжнин. Недаром, передав ее в 1789 г. в театр для постановки, он взял ее назад, как только заслышались первые шумы революционной бури.

Идейная двусмысленность трагедии бросалась в глаза ближайшему литературному потомству Княжнина. Это ощущение двусмысленности лучше всего выражено поэтом Воейковым, очень ценившим „Вади́ма“ и так резюмировавшим смысл столкновения князя и посадника-республиканца:

Обоим славная, ужасная судьба!
И нерешенною осталася борьба
Величья царского с величьем гражданина..
Корнелева пера достойная картина!

Но современникам драматурга, и в первую очередь санкционировавшей напечатание „Вадима“ Дашковой, хорошо знавшей умонастроение Княжнина, пьеса отнюдь не представлялась направленной против екатерининской монархии. Не напрасно поэтому Дашкова утверждала, что княжнинская трагедия без сомнения менее вредна, чем французские пьесы, которые идут в Эрмитаже, и усиленно рекомендовала подозрительно к ней настроенным, и в первую очередь Екатерине, прежде, чем выносить приговор о ней, внимательно прочесть ее. Этот совет Дашковой, к которому следует присоединить еще совет учитывать всю литературную продукцию Княжнина и его биографию, остается в силе и для современных исследователей, пытающихся пересматривать литературное наследство некогда очень популярного драматурга.